

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Ш78

Оформление серии *Н. Ярусовой*

В оформлении обложки использованы фрагменты работы
художника *Альфреда Войцеха Коссака*

Шолохов, Михаил Александрович.

Ш78 Тихий Дон. Том II / Михаил Шолохов. — Москва :
Эксмо, 2023. — 768 с.

ISBN 978-5-04-189730-7

Словно сама жизнь говорит со страниц «Тихого Дона». Запахи степи, свежесть вольного ветра, зной и стужа, живая речь людей — все это сливается в раздольную, неповторимую мелодию, поражающую трагической красотой и подлинностью. Разве можно забыть мятущегося в поисках правды Григория Мелехова? Его мучительный путь в пламени Гражданской войны, его пронзительную, неизбывную любовь к Аксинье, все изломы этой тяжелой и такой прекрасной судьбы?

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-189730-7

© М.А. Шолохов. Наследники, 2023
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

Как ты, батюшка, славный тихий Дон,
Ты кормилец наш, Дон Иванович,
Про тебя лежит слава добрая,
Слава добрая, речь хорошая,
Как, бывало, ты все быстер бежишь,
Ты быстер бежишь, все чистехонек,
А теперь ты, Дон, все мутен течешь,
Помутился весь сверху донизу.
Речь возговорит славный тихий Дон:
«Уж как-то мне все мутну не быть,
Распустил я своих ясных соколов,
Ясных соколов — донских казаков,
Размываются без них мои круты бережки,
Высыпаются без них косы желтым песком».

Старинная казачья песня

Книга третья

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

I

В апреле 1918 года на Дону завершился великий раздел: казаки-фронтвики северных округов — Хоперского, Усть-Медведицкого и частично Верхнедонского — пошли с отступавшими частями красноармейцев; казаки низовских округов гнали их и теснили к границам области.

Хоперцы ушли с красными почти поголовно, усть-медведицкие — наполовину, верхнедонцы — лишь в незначительном числе.

Только в 1918 году история окончательно разделила верховцев с низовцами. Но начало раздела намечалось еще сотни лет назад, когда менее зажиточные казаки северных округов, не имевшие ни тучных земель Приазовья, ни виноградников, ни богатых охотничьих и рыбных промыслов, временами откалывались от Черкаска, чинили самовольные набег на великоросские земли и служили надежнейшим оплотом всем бунтарям, начиная с Разина и кончая Секачом.

Даже в позднейшие времена, когда все Войско глухо волновалось, придавленное державной десницей, верховские казаки поднимались открыто и, руководимые своими атамана-

ми, трясли царевы устои: бились с коронными войсками, грабили на Дону караваны, переметывались на Волгу и подбивали на бунт сломленное Запорожье.

К концу апреля Дон на две трети был оставлен красными. После того как явственно наметилась необходимость создания областной власти, руководящими чинами боевых групп, сражавшихся на юге, было предложено созвать Круг. На 28 апреля в Новочеркасске назначен был сбор членов Временного донского правительства и делегатов от станиц и войсковых частей.

На хуторе Татарском была получена от вешенского станичного атамана бумага, извещавшая о том, что в станице Вешенской 22-го этого месяца состоится станичный сбор для выборов делегатов на Войсковой круг.

Мирон Григорьевич Коршунов прочитал на сходе бумагу. Хутор послал в Вешенскую его, деда Богатырева и Пантелея Прокофьевича.

На станичном сборе в числе остальных делегатов на Круг избрали и Пантелея Прокофьевича. Из Вешенской возвратился он в тот же день, а на другой решил вместе со сватом ехать в Миллерово, чтобы загодя попасть в Новочеркасск (Миرونу Григорьевичу нужно было приобрести в Миллерове керосину, мыла и еще кое-чего по хозяйству, да, кстати, хотел и подработать, закупив Мохову для мельницы сит и баббиту).

Выехали на зорьке. Бричку легко несли воронье Мирона Григорьевича. Сваты рядком сидели в расписной цветастой люльке. Выбрались на бугор, разговорились; в Миллерове стояли немцы, поэтому-то Мирон Григорьевич и спросил не без опаски:

— А что, сваток, не забастуют нас германцы? Лихой народ, в рот им дышлину!

— Нет, — уверил Пантелей Прокофьевич. — Матвей Кашулин надесь был там, гутарил — робеют немцы... Опасаются казаков трогать.

— Ишь ты! — Мирон Григорьевич усмехнулся в лисью рыжевень бороды и поиграл вишневым кнутовищем; он, видно, успокоившись, перевел разговор: — Какую же власть установить, как думаешь?

— Атамана посодим. Своего! Казака!

— Давай Бог! Выбирайте лучше! Шшупайте генералов, как цыган лошадей. Чтоб без браку был.

— Выберем. Умными головами ишо не обеднел Дон.

— Так, так сваток... Их и дураков не сеют — сами родятся. — Мирон Григорьевич сощурился, грусть легла на его вес-

нушчатое лицо. — Я своего Митьку думал в люди вывести, хотел, чтоб на офицера учился, а он и приходской не кончил, побег на вторую зиму.

На минуту умолкли, думая о сыновьях, ушедших куда-то вслед большевикам. Бричку лихорадило по кочковатой дороге; правый вороной засекался, шелкая нестертой подковой; качалась люлька, и, как рыбы на нересте, терлись бок о бок тесно сидевшие сваты.

— Гдей-то наши казаки? — вздохнул Пантелей Прокофьевич.

— Пошли по Хопру. Федотка Калмык вернулся из Кумылженской, конь у него загубился. Гутарил, кубыть, держут шлях на Тишанскую станицу.

Опять замолчали. Спины холодил ветерок. Позади, за Доном, на розовом костре зари величаво и безмолвно сгорали леса, луговины, озера, плешины полян. Краюхой желтого сотового меда лежало песчаное взгорье, верблюжьи горбы буруно скупно отсвечивали бронзой.

Весна шла недружно. Аквамариновая прозелень лесов уже сменилась богатым густо-зеленым опереньем, зацвела степь, сошла полая вода, оставив в займище бесчисленное множество озер-блесток, а в ярах под крутыми склонами еще жался к суглинкам изъеденный ростепелью снег, белел вызывающе ярко.

На вторые сутки к вечеру приехали в Миллерово, заночевали у знакомого украинца, жившего под бурым боком элеватора. Утром, позавтракав, Мирон Григорьевич запряг лошадей, поехал к магазинам. Беспрепятственно миновал железнодорожный переезд и тут первый раз в жизни увидел немцев. Трое ландшафтurmистов шли ему наперерез. Один из них, мелкорослый, заросший по уши курчавой каштановой бородой, позывно махнул рукой.

Мирон Григорьевич натянул вожжи, беспокойно и выжидающе жуя губами. Немцы подошли. Рослый упитанный пруссак, искрясь белозубой улыбкой, сказал товарищу:

— Вот самый доподлинный казак! Смотри, он даже в казачьей форме! Его сыновья, по всей вероятности, дрались с нами. Давайте его живьем отправим в Берлин. Это будет прелюбопытнейший экспонат!

— Нам нужны его лошади, а он пусть идет к черту! — без улыбки ответил клешнятый, с каштановой бородой.

Он опасливо околесил лошадей, подошел к бричке.

— Слезай, старик. Нам необходимы твои лошади — перевезти вот с этой мельницы к вокзалу партию муки. Ну же, слезай, тебе говорят! За лошадьми придешь к коменданту. — Не-

мец указал глазами на мельницу и жестом, не допуская сомнений в назначении его, пригласил Мирона Григорьевича сойти.

Двое остальных пошли к мельнице, оглядываясь, смеясь. Мирон Григорьевич оделся иссера-желтым румянцем. Наматывая на грядущку люльки вожжи, он молодо прыгнул с брички, зашел наперед лошадям.

«Свата нет, — мельком подумал он и похолодел. — Заберут коней! Эх, врюхался! Черт понес!»

Немец, плотно сжав губы, взял Мирона Григорьевича за рукав, указал знаком, чтобы шел к мельнице.

— Оставь! — Мирон Григорьевич потянулся вперед и побледнел заметней. — Не трожь чистыми руками! Не дам коней.

По голосу его немец догадался о смысле ответа. У него вдруг хищно ощерился рот, оголив иссяня-чистые зубы, — зрачки угрожающе расширились, голос залязгал властно и крикливо. Немец взялся за ремень, висевший на плече винтовки, и в этот миг Мирон Григорьевич вспомнил молодость: бойцовским ударом, почти не размахиваясь, ахнул его по скуле. От удара у того с хряском мотнулась голова и лопнул на подбородке ремень каски. Упал немец плашмя и, пытаясь подняться, выронил изо рта бордовый комок сгустелой крови. Мирон Григорьевич ударил еще раз, уже по затылку, зиркнул по сторонам и, нагнувшись, рывком выхватил винтовку. В этот момент мысль его работала быстро и невероятно четко. Поворачивая лошадей, он уже знал, что в спину ему немец не выстрелит, и боялся лишь, как бы не увидели из-за железнодорожного забора или с путей часовые.

Даже на скачках не ходили вороны таким бешеным наметом! Даже на свадьбах не доставалось так колесам брички! «Господи, унеси! Ослобони, Господи! Во имя отца!..» — мысленно шептал Мирон Григорьевич, не снимая с конских спин кнута. Природная жадность чуть не погубила его: хотел заехать на квартиру за оставленной полстью; но разум осилил — повернул в сторону. Двадцать верст до слободы Ореховой летел он, как после сам говорил, шибче, чем пророк Илья на своей колеснице. В Ореховой заскочил к знакомому украинцу и, ни жив ни мертв, рассказал хозяину о происшествии, попросил укрыть его и лошадей. Украинец укрыть — укрыл, но предупредил:

— Я сховаю, но як будуть дуже пытать, то я, Григорий, укажу, бо мэни ж расчету нэма! Хатыну спалють, тай и на мэна наденуть шворку.

— Уж ты укрой, родимый! Да я тебя отблагодарю, чем хошь! Только от смерти отведи, схорони где-нибудь — овец пригоню гурт! Десятка переюющих овец не пожалею! — упрашивал и сулил Мирон Григорьевич, закатывая бричку под навес сарая.

Пуше смерти боялся он погони. Простоял во дворе у украинца до вечера и смылся, едва смеркалось. Всю дорогу от Ореховой скакал по-оглашенному, с лошадей по обе стороны сыпалось мыло, бричка тарахтела так, что на колесах спицы сливались, и опомнился лишь под хутором Нижне-Яблоневским. Не доезжая его, из-под сиденья достал отбитую винтовку, поглядел на ремень, исписанный изнутри чернильным карандашом, облегченно крикнул:

— А что — догнали, чертовы сыны? Мелко вы плавали!

Овец украинцу так и не пригнал. Осенью побывал проездом, на выжидающий взгляд хозяина ответил:

— Овечки-то у нас попередохли. Плохо насчет овечков... А вот груш с собственного саду привез тебе по доброй памяти! — Высыпал из брички меры две избитых за дорогу груш, сказал, отводя шельмовские глаза в сторону: — Груши у нас хороши-расхороши... улежалые... — И распрошлся.

В то время, когда Мирон Григорьевич скакал из Миллерова, сват его торчал на вокзале. Молодой немецкий офицер написал пропуск, через переводчика расспросил Пантелея Прокофьевича и, закуривая дешевую сигару, покровительственно сказал:

— Поезжайте, только помните, что вам необходима разумная власть. Выбирайте президента, царя, кого угодно, лишь при условии, что этот человек не будет лишен государственно-го разума и сумеет вести лояльную по отношению к нашему государству политику.

Пантелей Прокофьевич посматривал на немца довольно недружелюбно. Он не был склонен вести разговоры и, получив пропуск, сейчас же пошел покупать билет.

В Новочеркасске поразило его обилие молодых офицеров: они толпами расхаживали по улицам, сидели в ресторанах, гуляли с барышнями, сновали около атаманского дворца и здания судебных установлений, где должен был открыться Круг.

В общежитии для делегатов Пантелей Прокофьевич встретил нескольких станичников, одного знакомого из Еланской станицы. Среди делегатов преобладали казаки, офицеров было немного, и всего лишь несколько десятков — представителей станичной интеллигенции. Шли неуверенные толки о выборе

областной власти. Ясно намечалось одно: выбрать должны атамана. Назывались популярные имена казачьих генералов, обсуждались кандидатуры.

Вечером в день приезда, после чая, Пантелей Прокофьевич присел было в своей комнате пожевать домашних харчишек. Он разложил звено вяленого сазана, отрезал хлеба. К нему подсаели двое мигулинцев, подошли еще несколько человек. Разговор начался с положения на фронте, постепенно перешел к выборам власти.

— Лучше покойного Каледина — царство ему небесное! — не сыскать, — вздохнул сивобородый шумилинец.

— Почти что, — согласился еланский.

Один из присутствующих при разговоре, подьесаул, делегат Бессергеновской станицы, не без горячности заговорил:

— Как это нет подходящего человека? Что вы, господа? А генерал Краснов?

— Какой это Краснов?

— Как, то есть, какой? И не стыдно спрашивать, господа? Знаменитый генерал, командир Третьего конного корпуса, умница, георгиевский кавалер, талантливый полководец?

Восторженная, захлебывающаяся речь подьесаула взбеленила делегата, представителя одной из фронтовых частей:

— А я вам говорю фактично: знаем мы его таланты! Никудышный генерал! В германскую войну отличался неплохо. Так и захряс бы в бригадирах, кабы не революция!

— Как же это вы, голубчик, говорите, не зная генерала Краснова? И потом, как вы вообще смеете отзываться подобным образом о всеми уважаемом генерале? Вы, по всей вероятности, забыли, что вы рядовой казак?

Подьесаул уничтожающе цедил ледяные слова, и казак растерялся, оробел, тушуясь, забормотал:

— Я, ваше благородие, говорю, как сам служил под ихним начальством... Он на астрицком фронте наш полк на колючие заграждения посадил! Потому и считаем мы его никудышным... А там кто его знает... Может, совсем навыворот...

— А за что ему «георгия» дали? Дурак! — Пантелей Прокофьевич подавился сазаньей костью; откашлявшись, напал на фронтовика: — Понабрались дурацкого духу, всех поносите, все вам нехороши... Ишь какую моду взяли! Поменьше б гутарили — не было б такой заварухи. А то ума много нажили. Пустобрехи!

Черкасня, низовцы горой стояли за Краснова. Старикам был по душе генерал — георгиевский кавалер; многие служили с ним в японскую войну. Офицеров прельщало прошлое Крас-

нова: гвардеец, светский, блестяще образованный генерал, бывший при дворе и в свите его императорского величества. Либеральную интеллигенцию удовлетворяло то обстоятельство, что Краснов не только генерал, человек строя и военной муштровки, но как-никак и писатель, чьи рассказы из быта офицерства с удовольствием читались в свое время в приложениях к «Ниве»; а раз писатель, — значит, все же культурный человек.

По общежитию за Краснова ярая шла агитация. Перед именем его блекли имена прочих генералов. Об Африкане Богаевском офицеры — приверженцы Краснова — шепотком передавали слухи, будто у Богаевского с Деникиным одна чашка-ложка, и если выбрать Богаевского атаманом, то, как только похерят большевиков и вступят в Москву, — капут всем казацким привилегиям и автономии.

Были противники и у Краснова. Один делегат-учитель без успеха пытался опорочить генеральское имя. Бродил учитель по комнатам делегатов, ядовито, по-комариному звенел в заводосатевшие уши казаков:

— Краснов-то? И генерал паршивый, и писатель ни к черту! Шаркун придворный, подлиза! Человек, который хочет, так сказать, и национальный капитал приобрести, и демократическую невинность сохранить. Вот поглядите, продаст он Дон первому же покупателю, на обчин! Мелкий человек. Политик из него равен нулю. Агеева надо выбирать! Тот — совсем иное дело.

Но учитель успехом не пользовался. И когда 1 мая, на третий день открытия Круга, раздались голоса:

— Пригласить генерала Краснова!

— Милости...

— Покорнейше...

— Просим!

— Нашу гордость!

— Нехай придет, расскажет нам про жизнь! — Весь обширный зал заволновался.

Офицеры басисто захлопали в ладоши, и, глядя на них, немело, негромко стали постукивать и казаки. От черных, выдубленных работой рук их звук получался сухой, трескучий, можно сказать — даже неприятный, глубоко противоположный той мягкой музыке аплодисментов, которую производили холеные подушечки ладоней барышень и дам, офицеров и учащихся, заполнивших галерею и коридоры.

А когда на сцену по-парадному молодецки вышагал высокий, стройный, несмотря на годы, красавец генерал, в мунди-

ре, с густым засеvom крестов и медалей, с эполетами и прочими знаками генеральского отличия, — зал покрылся рябью хлопков, ревом. Хлопки выросли в овацию. Буря восторга гуляла по рядам делегатов. В этом генерале, с растроганным и взволнованным лицом, стоявшем в картинной позе, многие увидели тусклое отражение былой мощи империи.

Пантелей Прокофьевич прослезился и долго сморкался в красную, вынутую из фуражки утирку. «Вот это — генерал! Сразу видать, что человек! Как сам император, ажник подходи-мей на вид. Вроде аж шибается на покойного Александра!» — думал он, умиленно разглядывая стоявшего у ramпы Краснова.

— Круг — названный «Кругом спасения Дона» — заседал неспешно. По предложению председателя Круга, есаула Янова, было принято постановление о ношении погон и всех знаков отличия, присвоенных военному званию. Краснов выступил с блестящей, мастерски построенной речью. Он прочувствованно говорил о «России, поруганной большевиками», о ее «былой мощи», о судьбах Дона. Обрисовав настоящее положение, коротко коснулся немецкой оккупации и вызвал шумное одобрение, когда, кончая речь, с пафосом заговорил о самостоятельном существовании Донской области после поражения большевиков:

— Державный Войсковой круг будет править Донской областью! Казачество, освобожденное революцией, восстановит весь прекрасный старинный уклад казачьей жизни, и мы, как в старину наши предки, скажем полновзвучным, окрепшим голосом: «Здравствуй, белый царь, в кременной Москве, а мы, казачи, на тихом Дону!»

3 мая на вечернем заседании ста семью голосами против тридцати и при десяти воздержавшихся войсковым атаманом был избран генерал-майор Краснов. Он не принял атаманского пернача из рук войскового есаула, поставив условия: утвердить основные законы, предложенные им Кругу, и снабдить его неограниченной полнотой атаманской власти.

— Страна наша накануне гибели! Лишь при условии полнейшего доверия к атаману я возьму пернач. События требуют работать с уверенностью и отрадным сознанием исполняемого долга, когда знаешь, что Круг — верховный выразитель воли Дона — тебе доверяет, когда, в противовес большевистской распушенности и анархии, будут установлены твердые правовые нормы.

Законы, предложенные Красновым, представляли собою нас-пех перелицованные, слегка реставрированные законы преж-

ней империи. Как же Кругу было не принять их? Приняли с радостью. Все, даже неудачно переделанный флаг, напоминало прежнее: синяя, красная и желтая продольные полосы (казаки, иногородние, калмыки), и лишь правительственный герб, в угоду казачьему духу, претерпел радикальное изменение: взамен хищного двуглавого орла, распростершего крылья и расправившего когти, изображен был нагой казак в папахе, при шашке, ружье и амуниции, сидящий верхом на винной бочке.

Один из подхалимистых простаков-делегатов задал подобострастный вопрос:

— Может, их превосходительство что-нибудь предложит изменить либо переделать в принятых за основу законах?

Краснов, милостиво улыбаясь, разрешил себе побаловаться шуткой. Он обещающе оглядел членов Круга и голосом человека, избалованного всеобщим вниманием, ответил:

— Могу. Статьи сорок восьмую, сорок девятую и пятидесятую — о флаге, гербе и гимне. Вы можете предложить мне любую флаг — кроме красного, любой герб — кроме еврейской шестиконечной звезды или иного масонского знака, и любой гимн — кроме «Интернационала».

Смеясь, Круг утвердил законы. И после долго из уст в уста переходила атаманская шутка.

5 мая Круг был распущен. Отзвучали последние речи. Командующий Южной группой, полковник Денисов, правая рука Краснова, сулил в самом скором времени вытравить большевистскую крамолу. Члены Круга разъезжались успокоенные, обрадованные и удачным выбором атамана, и сводками с фронта.

Глубоко взволнованный, начиненный взрывчатой радостью, ехал из донской столицы Пантелей Прокофьевич. Он был неколебимо убежден, что пернач попал в надежные руки, что вскоре разобьют большевиков и сыны вернуться к хозяйству. Старик сидел у окна вагона, облокотившись на столик; в ушах его полоскались прощальные звуки донского гимна, до самого дна сознания просачивались живительные слова, и казалось, что и в самом деле по-настоящему «всколыхнулся, взволновался православный тихий Дон».

Но, отъехав несколько верст от Новочеркасска, Пантелей Прокофьевич увидел из окна аванпосты баварской конницы. Группа конных немцев двигалась по обочине железнодорожного полотна навстречу поезду. Всадники спокойно сутулились в седлах, упитанные ширококрупные лошади мотали куце обрезанными хвостами, лоснились под ярким солнцем. Кло-

нясь вперед, страдальчески избочив бровь, глядел Пантелей Прокофьевич, как копыта немецких коней победно, с переплясом попирают казачью землю, и долго после понуро горбачился, сопел, повернувшись к окну широкой спиной.

II

С Дона через Украину катились красные составы вагонов, увозя в Германию пшеничную муку, яйца, масло, быков. На площадках стояли немцы в бескозырках, в сине-серых форменных куртках, с привинченными к винтовкам штыками.

Добротные, желтой кожи, немецкие сапоги с окованными по износ каблуками трамбовали донские шляхи, баварская конница поила лошадей в Дону... А на границе с Украиной молодые казаки, только что обученные в Персиановке, под Новочеркасском, призванные под знамена, дрались с петлюровцами. Почти половина заново сколоченного 12-го Донского казачьего полка легла под Старобельском, завоевывая области лишний кус украинской территории.

На севере станица Усть-Медведицкая гуляла из рук в руки: занимал отряд казаков-красноармейцев, стекшихся с хуторов Глазуновской, Ново-Александровской, Кумылженской, Скуришенской и других станиц, а через час выбивал его отряд белых партизан офицера Алексева, и по улицам мелькали шинели гимназистов, реалистов, семинаристов, составлявших кадры отряда.

На север из станицы в станицу перекатами валили верхнедонские казаки. Красные уходили к границам Саратовской губернии. Почти весь Хоперский округ был оставлен ими. К концу лета Донская армия, сбита из казаков всех возрастов, способных носить оружие, стала на границах. Реорганизованная по пути, пополненная прибывшими из Новочеркаска офицерами, армия обрела подобие подлинной армии: малочисленные, выставленные станицами, дружины сливались; восстанавливались прежние регулярные полки с прежним, уцелевшим от германской войны, составом; полки сбивались в дивизии; в штабах хорунжих заменили матерые полковники; исподволь менялся и начальствующий состав.

К концу лета боевые единицы, скомпонованные из сотен мигулинских, мешковских, казанских и шумилинских казаков, по приказу генерал-майора Алферова перешли донскую границу и, заняв Донецкое — первую на рубеже слободу Воронежской губернии, повели осаду уездного города Богучара.

Уже четверо суток сотня татарских казаков под командой Петра Мелехова шла через хутора и станицы на север Усть-Медведицкого округа. Где-то правее их спешно, не принимая боя, отступали к линии железной дороги красные. За все время татарцы не видели противника. Переходы делали небольшие. Петро, да и все казаки, не сговариваясь, решили, что к смерти спешить нет расчета, в переход оставляли за собой не больше трех десятков верст.

На пятые сутки вступили в станицу Кумылженскую. Через Хопер переправлялись на хуторе Дундуковом. На лугу кисейной занавесью висела мошка. Тонкий вибрирующий звон ее возрастал неумолчно. Мириады ее слепо кружились, кишели, лезли в уши, глаза всадникам и лошадям. Лошади нудились, чихали, казаки отмахивались руками, беспрестанно чадили табаком-самосадам.

— Вот забава, будь она проклята! — крикнул Христоня, вытирая рукавом слезившийся глаз.

— Вскочила, что ль? — улыбнулся Григорий.

— Глаз щипет. Стал быть, она ядовитая, дьявол!

Христоня, отдирая красное веко, провел по главному яблоку шершавым пальцем; оттопырив губу, долго тер глаз тыльной стороной ладони.

Григорий ехал рядом. Они держались вместе со дня выступления. Прибивался к ним еще Аникушка, растолстевший за последнее время и от этого еще более запохожившийся на бабу.

Отряд насчитывал неполную сотню. У Петра помощником был вахмистр Латышев, вышедший на хутор Татарский в зятя. Григорий командовал взводом. У него почти все казаки были с нижнего конца хутора: Христоня, Аникушка, Федот Бодовсков, Мартин Шамиль, Иван Томилин, жердястый Борщев и медвежковатый увалень Захар Королев, Прохор Зыков, цыганская родня — Меркулов, Епифан Максаев, Егор Синилин и еще полтора десятка молодых ребят-одногодков.

Вторым взводом командовал Николай Кошевой, третьим — Яков Коловейдин и четвертым — Митька Коршунов, после казни Подтелкова спешно произведенный генералом Алферовым в старшие урядники.

Сотня грела коней степной рысью. Дорога обегала залитые водой музги, ныряла в лощинки, поросшие молодой кугой и талами, вилюжилась по лугу.

В задних рядах басисто хохотал Яков Подкова, тенорком подголашивал ему Андрюшка Кашулин, тоже получивший уряд-

ницкие лычки, заработавший их на крови подтелковских сподвижников.

Петро Мелехов ехал с Латышевым сбочь рядов. Они о чем-то тихо разговаривали. Латышев играл свежим темляком шапки. Петро левой рукой гладил коня, чесал ему промеж ушей. На пухлощекое лицо Латышева грелась улыбка, обкуренные, с подточенными коронками зубы изжелта чернели из-под небогатых усов.

Позади всех, на прихрамывающей пегой кобыленке трусил Антип Авдеевич, сын Бреха, прозванный казаками Антипом Бреховичем.

Кое-кто из казаков разговаривал, некоторые, изломав ряды, ехали по пятеро в ряд, остальные внимательно рассматривали незнакомую местность, луг, изъезженный оспяной рябью озер, зеленую изгородь тополей и верб. По снаряжению видно было, что шли казаки в дальний путь: сумы седел раздуты от клажи, вьюки набиты, в тороках у каждого заботливо увязана шинель. Да и по сбруе можно было судить: каждый ремешок испетлян драткой, все прошито, подогнано, починено. Если месяц назад верилось, что войны не будет, то теперь шли с покорным безотрадным сознанием: крови не избежать. «Нынче носишь шкуру, а завтра, может, вороны будут ее в чистом поле дубить», — думал каждый.

Проехали хутор Крепцы. Крытые камышом редкие курени замигали справа. Аникушка достал из кармана шаровар бурсак, откусил половину, хищно оголив мелкие резцы, и суетливо, как заяц, задвигал челюстями, прожевывая.

Христоня скосился на него:

— Оголодал?

— А то что ж... Жenuшка напекла.

— А и жрать ты здоров! Чрево у тебя, стало быть, как у бобра. — Он повернулся к Григорию и каким-то сердитым и жалующимся голосом продолжал: — Жрет, нечистый дух, неподобно! Куда он столько пихает? Приглядываюсь к нему эти дни, и вроде ажник страшно: сам, стал быть, небольшой, а уж лопает, как на пропасть.

— Свое ем, стараюсь. К вечеру съешь барана, а утром захочешь рано. Мы всякий фрукт потребляем, нам все полезно, что в рот полезло.

Аникушка похохатывал и мигал Григорию на досадливо плевавшего Христоню.

— Петро Пантелеев, ночевку где делаешь? Вишь, коняшки-то поподбились! — крикнул Томилин.

Его поддержал Меркулов:

— Ночевать пора. Солнце садится.

Петро махнул плетью:

— Заночуем в Ключах. А может, и до Кумылги потянем.

В черную курчавую бородку улыбнулся Меркулов, шепнул

Томилину:

— Выслуживается перед Алферовым, сука! Спешит...

Кто-то, подстригая Меркулова, из озорства окорнал ему бороду, сделал из пышной бороды бороденку, застругал ее кривым клином. Выглядел Меркулов по-новому, смешно, — это и служило поводом к постоянным шуткам. Томилин не удержался и тут:

— А ты не выслуживаешься?

— Чем это?

— Бороду под генерала подстриг. Небось, думаешь, как обрезают под генерала, так тебе сразу дивизию дадут? А шиша не хочешь?

— Дурак, черт! Ты ему всурьез, а он гнет.

За смехом и разговорами въехали в хутор Ключи. Высланный вперед квартирером Андриушка Кашулин встретил сотню у крайнего двора.

— Наш взвод — за мною! Первому — вот три двора, второму — по левой стороне, третьему — вон энтот двор, где колодезь и ишо четыре сподряд.

Петро подъехал к нему:

— Ничего не слыхал? Спрашивал?

— Ими тут и не воняет. А вот медов, парень, тут до черта. У одной старухи триста колодок. Ночью обязательно какой-нибудь расколем!

— Но-но, не дури! А то я расколю! — Петро нахмурился, тронул коня плетью.

Разместились. Убрали коней. Стемнело. Хозяева дали казакам повечерять. У дворов, на ольхах прошлогодней порубки расселись служивые и хуторные казаки. Поговорили о том и сем и разошлись спать.

Наутро выехали из хутора. Почти под самой Кумылженской сотню нагнал нарочный. Петро вскрыл пакет, долго читал его, покачиваясь в седле, натужно, как тяжесть, держа в вытянутой руке лист бумаги. К нему подъехал Григорий:

— Приказ?

— Ага!

— Чего пишут?

— Дела... Сотню велют сдать. Всех моих одногодков отзы-

вают, формируют в Казанке. Двадцать восьмой полк. Батарейцев — тоже и пулеметчиков.

— А остальным куда ж?

— А вот тут прописано: «В Арженовской поступить в распоряжение командира Двадцать второго полка. Двигаться безотлагательно». Ишь ты! «Безотлагательно»!

Подъехал Латышев, взял из рук Петра приказ. Он читал, шевеля толстыми тугими губами, косо изогнув бровь.

— Трогай! — крикнул Петро.

Сотня рванулась, пошла шагом. Казаки, оглядываясь, внимательно посматривали на Петра, ждали, что скажет. Приказ объявил Петро в Кумылженской. Казаки старших годов засуетились, собираясь в обратную дорогу. Решили передневать в станице, а на зорьке другого дня трогаться в разные стороны. Петро, весь день искавший случая поговорить с братом, пришел к нему на квартиру.

— Пойдем на плац.

Григорий молча вышел за ворота. Их догнал было Митька Коршунов, но Петро холодно попросил его:

— Уйди, Митрий. Хочу с братом погутарить.

— Эт-то можно. — Митька понимающе улыбнулся, отстал.

Григорий, искоса наблюдавший за Петром, видел, что тот хочет говорить о чем-то серьезном. Отводя это разгаданное намерение, он заговорил с напускной оживленностью.

— Чудно все-таки: отехали от дома сто верст, а народ уж другой. Гутарят не так, как у нас, и постройка другого порядка, вроде как у полипонов. Видишь, вот ворота накрыты тесовой крышей, как часовня. У нас таких нету. И вот, — он указал на ближний богатый курень, — заваulinка тоже обметана тесом: чтоб дерево не гнило, так, что ли?

— Оставь. — Петро сморщился. — Не об этом ты гутаришь... Погоди, давай станем к плетню. Люди глядят.

На них любопытствующе поглядывали шедшие с плаца бабы и казаки. Старик в синей распоясанной рубашке и в казачьей фуражке с розовым от старости околышем приостановился:

— Днюете?

— Хотим передневать.

— Овсянец коням есть?

— Есть трошки, — отозвался Петро.

— А то зайдите ко мне, всыплю мерки две.

— Спаси Христос, дедушка!

— Богу святому... Заходи. Вон мой курень, зеленой жестьюкрытый.

— Ты об чем хочешь толковать? — нетерпеливо, хмурясь, спросил Григорий.

— Обо всем. — Петро как-то виновато и вымученно улыбнулся, закусил углом рта пшеничный ус. — Время, Гришатка, такое, что, может, и не свидимся...

Неосознанная враждебность к брату, ужалившая было Григория, внезапно исчезла, раздавленная жалкой Петровой улыбкой и давнишним, с детства оставшимся обращением «Гришатка». Петро ласково глядел на брата, все так же длительно и нехорошо улыбаясь. Движением губ он стер улыбку — огрубел лицом, сказал:

— Ты гляди, как народ разделили, гады! Будто с плугом проехали: один — в одну сторону, другой — в другую, как под лемешом. Чертова жизнь, и время страшное! Один другого уж не угадывает... Вот ты, — круто перевел он разговор, — ты вот — брат мне родной, а я тебя не пойму, ей-богу! Чую, что ты уходишь как-то от меня... Правду говорю? — И сам себе ответил: — Правду. Мутишься ты... Боюсь, переметнешься ты к красным... Ты, Гришатка, досе себе не нашел.

— А ты нашел? — спросил Григорий, глядя, как за невидимой чертой Хопра, за меловой горою садится солнце, горит закат и обожженными черными хлопьями несутся оттуда облака.

— Нашел. Я на свою борозду попал. С нее меня не спихнешь! Я, Гришка, шататься, как ты, не буду.

— Хо? — обозленную выжал Григорий улыбку.

— Не буду!.. — Петро сердито потурсучил ус, часто замигал, будто ослепленный. — Меня к красным арканом не притянешь. Казачество против них, и я против. Суперечить не хочу, не буду! Да ить как сказать... Незачем мне к ним, не по дороге!

— Бросай этот разговор, — устало попросил Григорий.

Он первый пошел к своей квартире, старательно печатая шаг, шевеля сутулым плечом.

У ворот Петро, приотставая, спросил:

— Ты скажи, я знать буду... скажи, Гришка, не переметнешься ты к ним?

— Навряд... Не знаю.

Григорий ответил вяло, неохотно. Петро вздохнул, но расспрашивать перестал. Ушел он взволнованный, осунувшийся. И ему, и Григорию было донельзя ясно: стежки, прежде сплетавшие их, поросли непролазью пережитого, к сердцу не пройти. Так над буераком по кособокому склону скользит, вьется гладкая, выстриженная козьими копытами тропка и вдруг где-нибудь на повороте, нырнув на днище, кончится, как обрезан-

ная, — нет дальше пути, стеной лопушится бурьян, топырясь неприветливым тупиком.

...На следующий день Петро увел назад, в Вешенскую, полвину сотни. Оставшийся молодняк под командой Григория двинулся на Арженовскую.

С утра нещадно пекло солнце. В буром мареве кипятилась степь. Позади голубели лиловые отроги прихоперских гор, шафранным разливом лежали пески. Под всадниками шагом качались потные лошади. Лица казаков побурели, выщвели от солнца. Подушки седел, стремяна, металлические части уздечек накалились так, что рукой не тронуть. В лесу и то не осталось прохлады — парная висела духота, и крепко пахло дождем.

Густая тоска полонила Григория. Весь день он покачивался в седле, несвязно думая о будущем; как горошины стеклянного мониста, перебирал в уме Петровы слова, горько нудился. Терпкий бражный привкус полыни жег губы, дорога дымилась зноем. Навзничь под солнцем лежала золотисто-бурая степь. По ней шарили сухие ветры, мяли шершавую траву, сучили пески и пыль.

К вечеру прозрачная мгла затянула солнце. Небо вылиняло, посерело. На западе грузные появились облака. Они стояли недвижно, прикасаясь обвислыми концами к невнятной, тонко выпряденной нити горизонта. Потом, гонимые ветром, грозно поплыли, раздражающе низко волоча бурые хвосты, сахарно белея округлыми вершинами.

Отряд вторично пересек речку Кумылгу, втиснулся под купол тополевого леса. Листья под ветром рябили молочно-голубой изнанкой, согласно басовито шелестели. Где-то по ту сторону Хопра из ярко-белого подола тучи сыпался и сек землю косой дождь с градом, перепоясанный цветастым кушаком радуги.

Ночевали на хуторе, небольшом и пустынном. Григорий убрал коня, пошел на пасеку. Хозяин, престарелый курчавый казак, выбирая из бороды засетившихся пчел, встревоженно говорил Григорию:

— Вот эту колодку надьсы купил. Перевозил сюда, и детва отчегой-то вся померла. Видишь, тянут пчелы. — Остановившись около долбленого улья, он указал на лётку: пчелы беспрестанно вытаскивали на лазок трупики детвы, слетали с ними, глухо жужжа.

Хозяин жалостливо шурил рыжие глаза, огорченно чмокал губами. Ходил он порывисто, резко и угловато размахивая руками. Чересчур подвижной, груботелый, с обрывчатыми спе-

шашими движениями, он вызывал какое-то беспокойство и казался лишним на пчельнике, где размеренно и слаженно огромнейший коллектив пчел вел медлительную мудрую работу. Григорий присматривался к нему с легким чувством недоброжелательства. Чувство это непроизвольно порождает сострапаннный из порывов пожилой, широкоплечий казак, говоривший скрипуче и быстро:

— Нонешний год взятка хороша. Чебор цвел здорово, несли с него. Рамошные — способней ульи. Завожу вот...

Григорий пил чай с густым, тянким, как клей, медом. Мед сладко пахнул чебрецом, тройцей, луговым цветом. Чай разливала дочь хозяина — высокая красивая жалмерка. Муж ее ушел с красными, поэтому хозяин был угодлив, смирен. Он не замечал, как дочь его из-под ресниц быстро поглядывала на Григория, сжимая тонкие неяркие губы. Она тянулась рукой к чайнику, и Григорий видел смолисто-черные курчеватые волосы под мышкой. Он не раз встречал ее шупающий, любознательный взгляд, и даже показалось ему, что, столкнувшись с ним взглядом, порозовела в скулах молодая казачка и согрела в углах губ припрятанную усмешку.

— Я вам в горнице постелю, — после чая сказала она Григорию, проходя с подушкой и полстью мимо и обжигая его откровенным голодным взглядом. Взбивая подушку, будто между прочим сказала невнятно и быстро: — Я под сараем ляжу... Душно в куренях, блохи кусают...

Григорий, скинув одни сапоги, пошел к ней под сарай, как только услышал храп хозяина. Она уступила ему место рядом с собой на снятой с передка арбе и, натягивая на себя овчинную шубу, касаясь Григория ногами, притихла. Губы у нее были сухи, жестки, пахли луком и незахвачанным запахом свежести. На ее тонкой и смуглой руке Григорий прозревал до рассвета. Она с силой всю ночь прижимала его к себе, ненасытно ласкала и со смешками, с шутками в кровь искусила ему губы и оставила на шее, груди и плечах лиловые пятна поцелуев-укусов и крохотные следы своих мелких зверушечьих зубов. После третьих кочетов Григорий собрался было перекочевать в горницу, но она его удержала.

— Пусти, любушка, пусти, моя ягодка! — упрашивал Григорий, улыбаясь в черный поникший ус, мягко пытаясь освободиться.

— Полежи ишо чудок... Полежи!

— Да ить увидют! Гля, скоро рассветит!

— Ну и нехай!

— А отец?
— Батяня знает.
— Как знает? — Григорий удивленно подрожал бровью.
— А так...
— Вот так голос! Откель же он знает?
— Он, видишь... он вчерась мне сказал: дескать, ежели будет офицер приставать, переспи с ним, примолви его, а то за Гераську коней заберут либо ишо чего... Муж-то, Герасим мой, с красными...

— Во-он-он как! — Григорий насмешливо улыбнулся, но в душе был обижен.

Неприятное чувство рассеяла она же. Любовно касаясь мышц на руке Григория, она вздрогнула:

— Мой-то разлюбезный не такой, как ты...

— А какой же он? — заинтересовался Григорий, потрезвелыми глазами глядя на бледнеющую вершину неба.

— Никудышный... квёлый... — Она доверчиво потянулась к Григорию, в голосе ее зазвучали сухие слезы. — Я с ним безо всякой сладости жила. Неож он по бабьему делу...

Чужая, детски наивная душа открывалась перед Григорием просто, как открывается, впитывая росу, цветок. Это пьянило, будило легкую жалость. Григорий, жалея, ласково гладил растрепанные волосы своей случайной подруги, закрывал усталые глаза.

Сквозь камышовую крышу навеса сочился гаснущий свет месяца. Сорвалась и стремительно скатилась к горизонту падающая звезда. В пруду на пепельном небе фосфорический стынущий след. В пруду закрикала матерка, с любовной сипотцой отозвался селезень.

Григорий ушел в горницу, легко неся опорожненное, налитое сладостным звоном устали тело. Он уснул, ощущая на губах солонцеватый запах ее губ, бережно храня в памяти охочее на ласку тело казачки и запах его — сложный запах чебрецового меда, пота и тепла.

Через два часа его разбудили казаки. Прохор Зыков оседлал ему коня, вывел за ворота. Григорий попрощался с хозяином, твердо выдержав его задымленный враждебностью взгляд, — кивнул головой проходившей в курень хозяйской дочери. Она наклонила голову, тепля в углах тонких, неярко окрашенных губ улыбку и невнятную горечь сожаления.

По проулку ехал Григорий, оглядываясь. Проулок полудугой огибал двор, где он ночевал, и он видел, как пригретая им казачка смотрела через плетни ему вслед, поворачивая голову,

шитком выставив над глазами узкую загорелую ладонь. Григорий с неожиданной ворохнувшейся тоской оглядывался, пытался представить себе выражение ее лица, всю ее — и не мог. Он видел только, что голова казачки в белом платке тихо поворачивается, следя глазами за ним. Так поворачивается шляпка подсолнечника, наблюдавшего за медлительным кружным походом солнца.

* * *

Этапным порядком гнали Кошевого Михаила из Вешенской на фронт. Дошел он до Федосеевской станицы, там его станичный атаман задержал на день и под конвоем отправил обратно в Вешенскую.

— Почему отсылаете назад? — спросил Михаил станичного писаря.

— Получено распоряжение из Вешек, — неохотно ответил тот.

Оказалось, что Мишкина мать, ползая на коленях на хуторском сборе, упросила стариков, и те написали от общества приговор с просьбой Михаила Кошевого как единственного кормильца в семье назначить в атарщики. К вешенскому станичному атаману с приговором ездил сам Мирон Григорьевич. Упросил.

В станичном правлении атаман накричал на Мишку, стоявшего перед ним во фронт, потом сбавил тон, сердито закончил:

— Большевикам мы не доверяем защиту Дона! Отправляйся на отвод, послужишь атарщиком, а там видно будет. Смотри у меня, сукин сын! Мать твою жалко, а то бы... Ступай!

По раскаленным улицам Мишка шел уже без конвоира. Скатка резала плечо. Натруженные за полтора верста ходьбы ноги отказывались служить. Он едва дотянул к ночи до хутора, а на другой день, оплаканный и обласканный матерью, уехал на отвод, увозя в памяти постаревшее лицо матери и впервые замеченную им пряду седин на ее голове.

К югу от станицы Каргинской, на двадцать восемь верст в длину и шесть в ширину, разлеглась целинная, извеку не паханная заповедная степь. Кус земли во многие тысячи десятин был отведен под попас станичных жеребцов, потому и назван — отводом. Ежегодно на Егорьев день из Вешенской, из зимних конюшен, выводили атарщики отстоявшихся за зиму жеребцов, гнали их на отвод. На станичные деньги была выстроена посреди отвода конюшня с летними открытыми стан-